

ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ

СВЕНЦИЦКИЙ

ИЗБРАННОЕ



КЛАССИКА РУССКОЙ
ДУХОВНОЙ ПРОЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«НИКЕЯ»

Валентин Павлович Свенцицкий
Избранное
Серия «Классика
русской духовной прозы»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11311044

Избранное: Никея; Москва; 2014
ISBN 978-5-91761-342-0

Аннотация

Протоиерей Валентин Свенцицкий (1881–1931) – богослов, философ и духовный писатель. В сборник вошли произведения, написанные о. Валентином до его рукоположения. «Второе распятие Христа» – фантастическая повесть о пришествии Христа в современный мир. За неполные два тысячелетия, прошедшие после евангельских событий, на земле мало что изменилось. Люди все так же не верят Христу, не понимают смысла Его заповедей. Никем не признанный, Он снова предается суду. Роман «Антихрист» по стилю и по проблематике очень близок к произведениям Достоевского. Главный герой признается в своей порочности, но не стыдится ее. Он с интересом изучает темную, «антихристову» сторону своей личности, оправдывая собственную безнравственность принципом «Избегающему искушений не узнать святости».

Содержание

Предисловие	4
Рассказы	11
Христос в детской	11
Темной ночью	22
Побег	33
Назначение	42
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Валентин Павлович Свенцицкий Избранное

Предисловие Духовный реализм

Мировоззрение богослова, философа, общественного деятеля, публициста, прозаика и драматурга Валентина Павловича Свенцицкого (1881–1931) сформировали христианство, идеи В. С. Соловьева, творчество Ф. М. Достоевского и этика И. Канта; с 1898 года юноша духовно окормлялся у прп. Анатолия (Потапова) Оптинского.

В 1905 году Свенцицкий создал первую в России христианскую политическую организацию, многие чаяния которой воплотил Поместный Собор 1917–1918 годов; был организатором Московского религиозно-философского общества. В печати и с кафедры обличал преступления евангельских заповедей в государственных и церковных делах, языческий цезарепапизм, хилиазм и социалистическую утопию, нищестанство и толстовство, либеральные и черносотенные подделки под Христа.

С 1909 года Свенцицкий участвовал в движении голгофских христиан, ставя целью пробудить сознание народа к религиозному творчеству и считая, что вся живая жизнь должна объединиться вокруг храма.

В 1917 году был рукоположен во иерея, а год спустя стал проповедником Добровольческой армии, призвав обезумевший народ к покаянию и борьбе с бесовской силой большевизма. Только в Церкви видел нравственный фундамент обустройства России.

В 1920-х годах о. Валентин служил в Москве. За противодействие обновленчеству был выслан в Таджикистан, где составил практическое руководство по постижению молитвы Иисусовой. По возвращении, будучи настоятелем храма Свт. Николая Чудотворца на Ильинке, проводил с общиной беседы о монастыре в миру – духовной преграде внешним соблазнам и борьбе со страстями.

В 1928 году за поддержку иосифлянства был сослан в Красноярский край, где написал итоговый труд «Диалоги», и по сей день приводящий в Церковь взыскующих Истины. Перед смертью от абсцесса печени, не изменив мнения о «компромиссах, граничащих с преступлением», признал митрополита Сергия (Страгородского) законным первым епископом и получил прощение. Скончался 20 октября 1931 года. Доставленное в Москву тело на отпевании 9 ноября при огромном стечении народа было обнаружено нетленным. Покойтся на Введенском (Немецком) кладбище.

Искушенный должен помочь искушаемым (см.: Евр. 2:18), и Свенцицкий должным образом именовал сущности духовного мира, публично исповедуясь в грехах своих и своего поколения, дабы сообща избавиться от рабства страстей. И по Божией милости смог изменить свое существо. В священстве о. Валентин стяжал дары благие и вразумил многие мятущиеся души.

Роман-исповедь «Антихрист» вскрывает механизм проникновения греха в сердце. Это страшное откровение, но бороться легче, если ведомы повадки противника. Книга учит, как признать в себе безобразного двойника и отделить, поняв, что он – не я.

Свенцицкому удалось пережитое душой выразить в образах с такой силой, что большинство читателей поверили в действительность событий. Да, это происходило... только не всегда на примитивном материальном уровне. Духовный реализм – так надо определять художественный метод достойного продолжателя Достоевского. Случилась редчайшая в искусстве вещь: творческое создание через органическую связь с душой автора облеклось в плоть и кровь. Здесь не клюквенный сок – в настоящем бою за жизнь вечную страдает сердце человеческое.

Уловленный в сети, но распознавший обман, герой при-

бегает к единственному целительному средству – Спасителю грешных. Описание сражения на молитве не имеет равных в художественной литературе. Духовная борьба доходит до высшего напряжения, когда смятый, но не отчаявшийся человек по-детски доверчиво взывает о помощи, а рядом хихикает палач: издевается, блазнит и бьет наотмашь. «Это враг Твой искушает меня» – в сей мысли надо утвердиться, чтобы выстоять. Кто не пожалеет душу свою и отсекает гниль – тот победит.

Узрите в себе двойника и возненавидьте всем сердцем, призывает прошедший тяжкое испытание автор. Ведь он возымел дерзновение откровенно сказать о том, что люди переживают втайне, одолел в себе врага и осознанно избрал Господа Богом. Потому настойчиво подводит к главной мысли – все описанное совершается в каждой душе. Антихрист растет в тебе, читатель, убивает тебя!

Идея бессмертия – центральная в «Записках». Оно должно быть, иначе жизнь не имеет смысла – все сгниет, все пойдет прахом... Гроб не страшен, если впереди вечность, но он очевиден, а утвердиться в невидимом не хватает сил, потому и мучается герой и молит о вере. Христианство – его оружие в борьбе с вызывающим ужас и отвращение призраком смерти. Чтобы победить ее, надо обладать «высочайшей любовью, Божественной красотой и абсолютной истиной». А еще – самому умереть... И воскреснуть! «Бессмертие – не мечта, жизнь – мечта, если нет бессмертия». Эти слова

должны стать крылатыми, потому что возносятся над бездной отчаяния и небытия.

Но надлежит явиться и Антихристу – воплощению человеческого страха, безобразия и разрушения. Обезумевший мир готов покончить самоубийством, лишь бы доказать независимость от Создателя. Бог требует подвига исправления и обличает зло, потому будет отвергнут. И тогда придет другой...

Свенцицкий выразил суть атеистического экзистенциализма, показав направленность его к ничто. Если Бог умер, неизбежно воцаряется Антихрист – в душе и в мире. Если смерть – единственная реальность, устремление к ней становится целью бытия. Сознание своей конечности во времени, противоречащее природе души, выливается в мятеж против всего мироустройства, против самой жизни. Потеря истинного смысла заставляет искать новый. Бунт оборачивается рабством, призыванием нового господина... Свенцицкий нашел выход из умственного тупика, составил подробный план лабиринта и описал маски губителя душ, грызущего нас изнутри. Жуток вид гусеницы с лицом человеческим, но отращивание ко греху рождает жажду исцелиться.

Не фантазия, но высшая реальность и «Второе распятие Христа», где «все записал о. Валентин без художеств и психологизмов» (Ю. В. Давыдов). Именно записал – как свидетель свершившегося. А в завершение предрек гибель внутренне сгнившей империи.

Тугой узел повествования – спор о Церкви. Подчинившаяся земным царям и потерявшая даже имя организация возомнила себя господствующей... Поправшие идеал соборности, извратившие смысл заповедей, погрязшие в роскоши главенствовали в ней. А управлял механизмом безличный монстр по кличке «государство».

Неужели Церковь Христова уничтожена князем мира сего? Никак. Она там, где любовь, правда и таинственное благодатное общение. А значит, нет в ней псевдопатриотов, которыми правит ненависть, нет потерявших совесть судей, нет властителей и богачей, разоряющих страну и развращающих тотальной ложью, нет священников, благословляющих беззаконие, нет трусливо молчащих. Церковь там, где в простоте сердечной не отвергают голгофский путь, зная, сколь жестоко отомстит мир за выполнение заветов Господних. И другого исхода нет: или со Христом на муки и подвиг, или против – тогда почет и жизнь в хоромах. Человек свободен, но обязан выбирать.

Символ повести – встреча крестного хода с ведомым на казнь Спасителем... Масштабно поставленная сцена принесла бы славу кинорежиссеру; красочное и детальное описание вошло бы в хрестоматии. Свенцицкий же передает событие по-евангельски, в двух лаконичных предложениях.

Сходство «фантазии» с поэмой «Великий инквизитор» только внешнее. Там безымянный персонаж молчит, лишь совершает чудеса. Иисус Христос в Москве обличает отступ-

ников, отвечает страждущим, несет евангельскую весть: простые и ясные слова гремят как гром и жгут как огонь, глубоко западая в сердца. Но отнюдь не все узнают Бога, только чистые сердцем следуют за Ним, публика же стоит в отдалении, а панически бегущие от Него давят друг друга, как дикие звери.

Карамазовский инквизитор выпускает пленника... Как бы не так! Мир ненавидит Христа и будет гнать, пока не убьет. А иначе Пришедший – не Бог. Через всю земную историю прошел Он, и всегда повторялось одно – Крест, позорная смерть и Воскресение. Если истинно веруем, что Пасха – событие вселенское и ежегодное, должны признать: Он и умирает по-настоящему. Мы во всякое время и на всяком месте распинаем Бога грехами своими, а Он страдает за нас и проливает Пречистую Кровь. На Руси – в любимой березовой роще, в венце из крапивы. И снова несем Ему вербовые веточки, и снова кладем во Гроб по доносу синедриона и предписанию кесаря, и опять воскресает Господь...

С. В. Чертков

Рассказы

Христос в детской

У маленького Коли случилась большая неприятность: раздавился заводной гусар.

Вечером он положил его с собою спать, утром забыл совсем, нечаянно облокотился рукой, и гусар «раздавился».

Когда Колю вместе с шестилетней сестрой Олинкой вели умываться, он шел, мрачно уставившись в пол, и успел шепнуть:

– Я решил скончаться от разрыва сердца...

Олинька вскинула на него круглые голубые глаза, перевела их на няню, потом молча обхватила Колинку ниже пояса, прижалась к нему беленькой головкой и заплакала во весь голос.

Няня накинулась на Колю:

– Ах ты озарь эдакий! Трогала она тебя, свистуна, трогала? Пойди ко мне, деточка... пойд ко мне, маленькая...

Но Олинька мотала головой и, красная вся от плача, крепче и крепче прижималась к Колинке.

– Да ты что? – обратилась к нему няня.

Олинька затихла, но не отрывалась и, видно, ждала, что он скажет.

– Ничего... – надув губы, шептал Коля.

– Как ничего! Подрались, что ли? Олинька, обидел он тебя?

Но Олинька упорно молчала. Так няня ничего и не добилась. Начала умывать их. Весело было подставлять лицо и шею под светлую, холодную струю – сразу забылись все неприятности.

«И потом, голова у него еще держится», – подумал Коля, обтираясь полотенцем.

Ему стало совсем хорошо. Он бросил полотенце на руки няни, и не успела она опомниться, как Коли уже не было в комнате.

– Ну уж сорванец, ну уж свистун, – ворчала няня. И принялась причесывать беленькие волосы Оли.

Олинька стояла покорно, но всей душой стремилась за Колинькой и потому улыбалась, косила глаза и размахивала руками.

«Скорей бы все кончилось, – думала она. – Богородицу... хлеб с молоком... потом настоящее...»

Няня кончила причесывать и позвала Колю.

– Завтра Пасха, – сказала она, – «Христос воскрес» надо учить.

– Я Христа воскреса видел – на стене висит, – сказал Коля, вертя головой в разные стороны и надувая то одну, то другую щеку.

– Как ты нехорошо говоришь, – остановила его няня. –

«Христоса воскреса» – разве так говорят умные дети? Воскресение Христово... Христос воскрес...

– Это как Он? – переставая шалить, спросил Коля.

– Как воскресают?... Распяли на кресте, в гроб положили и стражу приставили, запечатали – а Он через три дня воскрес.

– Совсем?

– Нехорошо как говоришь, – снова сказала няня.

– Нет, право, нянечка, совсем?

– Учись-ка вот лучше.

И няня стала читать молитву и заставляла детей повторять за собой.

Олинька выучила почти сразу. А Коля все путал.

– Ветер – ветер и есть, – сказала ему няня и покачала головой.

Дети наскоро выпили в столовой теплого молока с хлебом, побежали в детскую и первым делом занялись гусаром. Разложили на полу коврик и уселись с Олинькой осматривать игрушку. Ноги гусара отвалились и едва держались на тонкой проволочке. Когда спустилась пружина, они беспомощно болтались в воздухе. У Колиньки пропала последняя надежда спасти гусара. Он опять мрачно уставился в пол. Олинька боязливо посматривала на него, готовая расплакаться, и только ждала, когда начнет Коля.

В это время вошла няня.

– Нянечка, мой гусар скончался, – грустно сказал Коля.

– Глупости говоришь.

– Право! Ноги отвалились, и он скончался от разрыва сердца.

– Уж и язык, прости Господи. И в кого, не знаю: отец, кажется, хороший человек, мать тоже из хорошего дома взята.

– Да, право же, нянечка! Сама посмотри...

– И смотреть нечего. Умирают люди. А игрушки ломаются.

– А почему игрушка не может умереть?

– Отвяжись ты. Щетки вот никак не найду.

– Нянечка, что значит «умер»?

– Глупости все спрашиваешь.

– Нет, право, нянечка.

– Умер? Жить перестал.

Коля задумался и решительно сказал:

– Не может быть!

– Уж где с тобой сговорить, – ворчала няня, – без году неделя живет – все знает.

– Нянечка, завтра Христос воскрес – а ты бранишься.

Няня рассмеялась:

– Что ты с ним будешь делать! Да я разве браню тебя? Рано, только, рассуждать стал – вот и говорю. Я молода была – так не рассуждала.

– А как?

– Да никак... Лучше бы гулять пошли, чем глупости-то все говорить.

– Можно, нянечка?!

– Возьмите Агашу да и ступайте.

День был солнечный, теплый, весенний. И хотя детей закутали с ног до головы – свежий, ласковый ветер невольно заставлял смеяться от радости.

После комнаты все казалось новым, ярким, сияющим.

Коля не знал, куда смотреть, – небо такое голубое, так славно загнуть голову и не видеть ничего перед собой, кроме голубого поля, и голуби на крыше совсем ручные – один белый и два сереньких, у ворот мохнатая, черная собака, а посреди двора мальчишки делают запруду.

Колиньке хочется прыгать от радости, только шуба такая тяжелая, противная. И зачем-то калоши надели. Он берет Олиньку за руку и тянет ее:

– Давай бегать.

И они бегут в своих тяжелых шубках, смеясь и щурясь от солнца.

Мальчишки бросили запруду и смотрят на них.

– Идите к нам! – кричит им Коля.

Ему весело. И хочется, чтобы все были вместе. Играли бы и смеялись.

На крыльцо вышла няня. Коля увидел ее. И, задыхаясь от быстрого бега, бросился к ней.

– Нянечка, нянечка, Христос воскрес!

Няня поправляет ему платок на голове. Не сердится. А тоже улыбается.

– Домой пора, ишь, мокрый стал.

– Сейчас, нянечка, – Олиньку позову.

Он идет назад и все оглядывается на няню, и все улыбается ей.

Уходить не хочется. В комнатах так темно. Но Коля послушный, ласковый. Он берет Олиньку за руку, последний раз оглядывает голубей, двор, небо и медленно идет домой.

Вечером няня решила уложить детей пораньше, чтобы успеть все приготовить к заутрене.

Но как нарочно Коля раскапризничался и никак не соглашался спать. Заразил своими капризами и послушную всегда Олиньку.

– Нехорошо так, – сказала няня, – сегодня день-то какой – Великая суббота, завтра праздник, а ты смотри-ка что делаешь.

– Нянечка, – неожиданно сказал Коля. – Что значит «распяли»?

– К кресту прибили.

– Как прибили?

– Руки и ноги.

– Чем?

– Гвоздями.

Коля замолчал и тихо сказал:

– Я больше не буду, нянечка.

Няня повела детей к иконам – молиться.

Икон в углу висело много. Посредине, около самой лам-

падки, «Воскресение Христово»: из гроба восстал Христос, а воины в страхе припали к земле. Особенно страшен был один: спина выгнута дугой, руками схватил себя за шею и почти распластался по земле. Коля не любил его и раньше всегда боялся его.

Дети встали на колени. Олинька искоса посматривала на Колю и старалась делать все, что и он. Няня говорила молитву вслух.

Коля перекрестился и положил земной поклон. Прикоснулся лбом к полу. Пол был холодный. Это заинтересовало его, и он не разогнулся, а так и остался на полу. Вспомнил воина на иконе, и стало страшно: если поднимусь, что-нибудь случится. От холодного пола еще страшней, но Коля до боли прижимается головой и зажмуривает глаза.

– Колинька, – сказала няня, переставая говорить молитву, – ты спишь, верно? – она взяла его за плечо.

Страх сразу слетел. Колинька радостно посмотрел на освещенные иконы:

– Нет, нянечка.

– Ну так молись как следует.

– Как хорошо, нянечка, что воскрес... Я бы тоже так сделал...

– Будет уж, будет, стрекоза... перекрестись и поклон земной... вот так!.. Ну, а теперь спать.

Колинька больше не капризничал и дал себя раздеть. Даже сам помогал няне.

Забился под одеяло, в холодную простыню, и, пока няня раздевала Олиньку, все крестил подушку, потихоньку, чтобы незаметно было.

Няня поправила лампадку, спустила занавески, еще раз подошла к детям.

Они лежали тихо. Няня ушла...

– Ты спишь? – шепотом сказал Коля.

– Нет, – тихонечко ответила Олинька со своей кровати.

– Сейчас Он воскресает.

Олинька молчала.

– Ты что? Боишься? – спросил Коля.

– Да, – чуть слышно прошептала Олинька.

– Совсем не страшно... Знаешь, давай с тобой тоже...

– Что?

– Воскреснем.

– Как?

– Пойдем к иконам. Ляжем на пол и потом воскреснем.

Олинька не отвечала.

– Ну?

– Я боюсь.

– Смотри, совсем не страшно.

И Коля спрыгнул с постели. Закутался в одеяло и пошел к иконам.

– Право, не страшно. Иди!

Олинька нерешительно спустила с постели ноги, тоже на-

кинула на себя одеяло и пошла к иконам.

– Одеяло у нас вместо гроба будет, – сказал Коля. И положил одеяло на пол.

Но в это время тихо отворилась дверь. Дети со страхом прижались друг к другу... Коля первый узнал Христа и бросился Ему навстречу. За ним робко пошла Оля.

– Я весь день о Тебе думал, – задыхаясь от восторга, сказал Коля.

Христос сел и обнял детей.

– Я весь день о Тебе думал, – быстро говорил Коля, – как Тебе больно было. И гвозди... А потом воскрес... Как хорошо!.. Так всегда надо. Пусть распинают. По-ихнему не выйдет... Я ведь так говорю? Я не боюсь, – изо всех сил спешил Коля, не дожидаясь ответа, – а вот она боится.

Оля застыдилась и тихо прижалась головой к руке Христа.

– Ты к нам всегда будешь приходить? – спросил Коля.

– Буду.

– Ночью?

– Ночью.

– Это хорошо, что ночью – никого нет. Ты все скажешь? Ты все знаешь?... Мне гусара жалко, он раздавился утром... нечаянно... и потом умер от разрыва сердца... Я очень любил его... Жалко...

Коля замолчал. Взял Христа за руку – посмотрел.

Потом перевел глаза на Христа – и заплакал.

Христос молча гладил его по волосам.

Колинька все затихал, затихал и вдруг обнял Его, прижался к Нему и, пряча лицо в белых Его одеждах, проговорил:

– Миленький мой. Господи... как больно-то Тебе... не хочу я... не надо так...

Олинька не плакала и все целовала руку Христа.

– Ты не уйдешь от нас? Не уйдешь? – говорил Колинька. – Ты навсегда к нам? Да?

– Да, – сказал Христос.

– И больше не будет так, да?

Христос молчал.

– Вот что тогда, – решительно сказал Коля. – Пусть у всех! И у меня, и у няни, и у мамы – у всех. Пусть одинаково. Пусть всем больно. Хорошо?! Да?

Христос тихо наклонил голову.

Коля поднял свои руки и увидел, что они обе пробиты гвоздями.

– Смотри, смотри, – весь затрепетав от восторга, воскликнул Коля, – и у меня!

Он схватил руку Олиньки, и на ее руках были раны:

– У нее тоже! Видишь? Значит, у всех? Олинька, мы тоже воскреснем! Господи... миленький мой... Как хорошо-то, как хорошо-то!..

Колю разбудила няня. Только что пришла от заутрени. Уронила яйцо нечаянно на пол.

– Ты что, нянечка?... – сквозь сон сказал Коля.

- Спи, спи, родной... Из церкви вот пришла.
- Христос воскрес, нянечка...
- Воистину воскрес... спи, родной мой, спи...

1912

Темной ночью

Никогда еще дедушка Еремеич не ловил в свои вентеры¹ такого количества рыбы.

Впрочем, и время было самое рыбное – начало мая.

Волга залила левый берег, потопила луга и леса, врезалась на десятки верст ериками – быстрыми, глубокими весенними речками, которые уйдут назад, когда сбудет вода, образуя узкие пересохшие овраги.

По этим ерикам весной заходит в озера рыба: щука, лини, окуни и особенно сазаны. Сазан мечет икру на мелких местах и входит в ерик, чтобы найти широкие поляны, залитые водой.

Еремеич еще с утра перегородил вентерями несколько ериков и на закате поехал подымать их. Лодка у него была самодельная, старая, вся в заплатках. Весла короткие. Сам он шершавый, обросший беспорядочными седыми волосами. На селе держался Еремеич особняком, жил бедно, перебывался кое-как рыбной ловлей. Ездил за рыбой всегда один, за это так его и прозвали «бобылем»...

Лениво шлепая веслами, проехал Еремеич по течению мимо рыбацкого стана, завернул за песчаный бурун и въехал в пенистый ерик.

Вода шла быстро, нагибая мягкие прутья затопленных ку-

¹ *Вентерь* – рыболовная снасть-ловушка.

стов; молодые, весенние листья даже вечером казались ярко-зелеными; теплый, душистый воздух смешивался с прохладными струями лесной сырости. Лодку гнало весело по течению, покачивая из стороны в сторону. Еремеич сложил весла и только отталкивался, когда лодку прибывало к затопленному дереву.

В узком проходе, сжатом высокими крутыми берегами, где вода шла особенно быстро, торчали три длинные палки: это стоял первый вентерь.

Еремеич схватился рукой за ближайшую палку. Лодку быстро повернуло на одном месте, борт почти зачерпнул воду, но Еремеич держался крепко. Осторожно перебирая, подвел лодку к берегу и начал подымать «крылья». Сначала одно крыло с палкой положил в лодку, потом другое. И не успел еще взяться за третью палку, чтобы вытащить матню², как рыба уже забилась, заплескалась в воде. Он нагнулся, красными, мокрыми руками раскачал третий, самый длинный, кол и стал вынимать вентерь. Вот на поверхности показали круглые бока сетки, в нее запуталось несколько мелких, белых рыбешек «густерок», как презрительно называют их рыбаки, вот плеснулась темная спина линия, острая морда шуки уткнулась в разорванную сеть, и наконец Еремеич увидал главную свою добычу – крупных сазанов, как на подбор, один к одному. Едва втащил он полную матню в лодку. Руки его ослабли от холодной воды и неожиданной удачи.

² Средняя часть невода в виде мешка, куда попадает рыба при ловле.

Он путал сетку, топтал ее неуклюжими сапогами и неловко протаскивал через узкое горло матни скользкую, трепетавшую рыбу.

Еремеич бросал ее на дно лодки, не считая, но опытный глаз сразу делал нужный ему подсчет. Сначала выбрал он мелкую «густеру». «Ну, эта себе на уху пойдет...» Потом щук – «щуки икряные, рубля на два всей-то будет». Потом стал тащить мягких упругих линей... «Тоже рубля на два наберется...» И наконец принялся за сазанов. Сазаны лежали спокойно, но при малейшем прикосновении резко бились сильными хвостами и выскальзывали из рук. Он встал на колени на мокрое дно лодки и начал вынимать двумя руками. С трудом можно было просунуть широкую спину сазана в узкий ход матни, и Еремеич с особенным удовольствием каждую вынутую рыбу держал некоторое время на весу и потом уже кидал в лодку, подбрасывая немного вверх.

Но все это было начало удачи.

С каждым новым вентером лодка наполнялась все больше, Еремеич потерял счет и линиям, и щукам, и сазанам. Знал он только одно, что много. Так много, как не запомнит за все свое рыбачество.

Солнце спустилось за песчаный бурун. Против течения ехать было трудно. Еремеич стал торопиться домой. До Волги по ерику проехать надо было версты полторы, а там еще проехать Волгу на перевал, с парусом: ветер дул попутный, теплый...

Еремеич греб привычным равномерным взмахом, а сам все думал о рыбе: «Рублей на двадцать, а то и больше... Завтра базар – разом всю разберут... Продам, а к вечеру снова ехать надо. Демьяновым скажу – в Верблюжьем затоне был... пусть едут...»

Еремеич устал. Руки промерзли от холодной воды и теперь на теплом весеннем воздухе горели и ныли. Рыба, накрытая мокрыми сетками, успокоилась и только изредка билась о края лодки. Ерик становился все тенистей, небо серело и ближе придвигалось к земле. Вдруг по верхушкам деревьев пронесся тревожный, протяжный гул. Еремеич насторожился. Поднял голову. И приналег на весла. По течению ехать было незаметно, а теперь вода крепко обхватывала лодку и отбрасывала назад.

«Только бы до Волги дотянуться, – думал он, – там парусом живой рукой...»

Деревья шумели все протяжнее, все тревожнее. Темнеть стало резко, порывами. Вода в ерике отливалась стальным блеском и, казалось, еще стремительней ударяла в тяжелую лодку.

«Который день к вечеру ветер, – думал Еремеич и успокаивал себя: – А к ночи все разойдется. Как бы не пришлось на стану пережить».

И снова стал думать о рыбе.

«Сазан метать икру шел, к Дарьиной поляне пробирался... шука-то везде шныряет, а вот линия столько – дико-

винно... Не упомяну такого линия... Коли подвозу не будет, все три красеньких можно взять... Базар большой: на луга едут... А переждать придется», – снова с досадой подумал он, прислушиваясь, как бушевал ветер.

Деревья скрипели и раскачивались в разные стороны, даже тонкий тальник гнулся против течения. И по узкому ерику пошли неровные волны.

Выехал Еремеич в затон, когда уже совсем стемнело. Поехал вдоль самого берега.

«Нет, нельзя ехать через Волгу, – окончательно решил Еремеич, – пережду ветер на стану...»

Под песчаным буруном, где затон соединялся с Волгой, вспыхивал огонь.

«Не спят – уху, верно, варят...»

Еремеич плотней прикрыл рыбу, чтобы нельзя было видеть, сколько ее, и повернул лодку на берег. Волны подхватывали и мешали пристать. Рыбак Андрей Прокофьич крикнул от костра:

– Еремеич?...

– Я.

– К лодке причаль...

Черная тень подошла к воде.

– Много наловил?

– Наловишь, – неохотно проворчал Еремеич, – вишь, погода.

Лодку кое-как привязал и выпрыгнул на берег.

– Ночевать будешь? – спросил Андрей Прокофьич.

– Нет, домой надо, пережду ветер.

– Иди, грейся. Уху варим.

– Кто с тобой?

– Гришка.

Подошли к костру.

– Не переждешь, – говорил Андрей Прокофьич, – ветер ночной дует... Дня на два, смотри, подымется.

– Мне нельзя, – угрюмо ворчал Еремеич, вытягиваясь около костра, – к утру надо.

– О старухе соскучился, – засмеялся Гришка.

– Да, о старухе... Много наловили?

– Есть, – весело отозвался Андрей Прокофьич, – сом пошел. Сазана много...

Еремеич посмотрел на небо: ни звездочки. Серая, мутная мгла придвинулась совсем близко над головой...

«Не стихнет, пропала рыба, – тоскливо думал он, – ветер теплый, сгноишь всю... Линь жирный...»

– На базар думал везти? – спросил Андрей Прокофьич. – Мы тоже думали, да нет, не придется, верно.

– Поеду, – упрямо сказал Еремеич.

Гришка засмеялся:

– Лучше кидай рыбу назад.

– Да, кидай... Сам кидай...

И снова тревожно смотрел на небо и прислушивался, как свистел ветер и весенние размашистые волны глухо ударяли

в песок.

«Пропадет рыба, сгноишь всю... – теперь для него это стало вдруг ясно до очевидности. – Весь улов погибнет. И лини, и сазаны, и щуки. Ни тридцати рублей не будет, ни двадцати, ни копейки...»

– Ехать надо, – решительно сказал он.

Гришка засмеялся:

– На дно. К щукам в гости.

– Одному не доехать, – серьезно проговорил Андрей Прокофьич, – лучше пережди.

– Не переждешь. Ехать надо, лодка тяжелая, не перевернется.

Еремеич встал и пошел на берег. Гришка и Андрей Прокофьич молча пошли за ним.

Помогли отвязать веревку.

– Не ездите, – сказал Андрей Прокофьич.

Еремеич ничего не ответил, прыгнул в лодку и оттолкнулся веслом.

Волны подхватили его и быстро понесли от берега. Еремеич встал, распустил парус. Залив кончился, началась коренная Волга.

Вода, волны, ветер – все сразу стало другое.

Берега отодвинулись далеко, точно вовсе растаяли в ночной мгле. Одинок и беспомощно бился пригнувшийся к воде парус. И Еремеич почувствовал, что он в этой страшной пустыне один. Совершенно один.

Вернуться нельзя. Крикнуть нельзя. А впереди ничего, кроме бесконечного ряда волн, которые чем дальше, тем выше подымали свои белые зубчатые гребни. Лодка то стремительно опускалась вниз, и тогда казалось, что вода расступилась до самого дна, то медленно вползала на гору, вся содрогаясь и почти опрокидываясь назад.

Еремеич не двигался. Согнувшись, сидел он на корме, не спуская глаз с паруса и грудью прижавшись к рулевому веслу. Рыба, встревоженная качкой, билась под сетью. Упало несколько крупных капель холодного дождя, неясною красноватой тенью мелькнула далекая зарница.

Еремеичу показалось, что ветер стихает. До середины доехал. Теперь за горой – легче будет. Он отодвинулся от рулевого весла и перевел дух.

Но ветер точно ждал этого. Разом ударил в парус, как-то сбоку и исподнизу. Лодку с силой повернуло на бок. Еремеич увидел над собой черную, холодную стену воды. Весло вырвало из рук его, и он едва успел схватиться за борт погрузившейся в воду лодки...

Еремеич не кричал. Он знал, что его никто не услышит. Он старался сбросить с себя сапоги и не выпускать лодки. Волны подхватили и понесли его по течению... Вода холодная, быстрая то закрывала его с головой, то выбрасывала по пояс вверх, лодку рвало из рук, и заочневшие пальцы едва могли ее удержать. Еремеич вспомнил, как всплывшая из лодки рыба ударяла ему в грудь. И подумал: «В воде отой-

дет... Только мелкота послула... А сазан и вовсе живой...»

Он не думал о том, что может потонуть. Раза три тонул, ничего, цел остался. И он думал только о том, чтобы выбиться из середины, и тогда на завороте его понемногу прибьет к берегу. Он закрывал глаза, когда вода накрывала его, и переводил дух, когда снова выбрасывало кверху.

Руки переставали чувствовать лодку. И Еремеичу казалось, что чем меньше чувствовали его пальцы, тем плотней прилипали к дереву, и потому он не старался заставить себя чувствовать борт лодки. И все тело его становилось таким же нечувствующим, крепким, точно деревянным, как будто бы и оно становилось частью лодки.

«Переждать бы надо. К утру стихло бы. Рублей двадцать, а то и все три красеньких утопишь...»

Вспомнил, что и венгеря потонули. Только головой с до-сады махнул.

«Эх, старый дурак, забыл! Чем ловить теперь буду...»

Не успел закрыть глаза, волна с гулом и холодным вздохом накрыла его. И когда выбросила наверх, Еремеич увидел, что лодка легко и свободно выскользнула из его закованных рук и быстро понеслась куда-то в сторону. А вместе с тем и сам он грузно, почти по шею, погрузился в воду. Он не поверил! не могло этого быть. Пальцы держали крепко, как вбитые гвозди... Не может быть... Три раза тонул... И рыбы

нет, и вентеря... И лодка...

Руки не двигаются. Ноги не двигаются.

– Тону!.. Тону!.. Тону!..

Вода мчится яростно, то выбрасывает, то закрывает седую голову Еремеича. Под ним глубина не меньше десяти сажен, самая середина Волги, а там дно...

В глаза его блеснул огонь костра под песчаным буруном. Теперь он поравнялся с рыбацким станом. Его течением вернуло назад к тому месту, от которого он отъехал. И Еремеич вздохнул всей грудью, жадно глотнул воздуху сколько только мог, поднялся над водой ниже груди и странным, не своим голосом хрипло и отрывочно закричал:

– Ай... Ай... Ай!..

И снова скрылся в воде. Хотел подняться. Еще глотнуть воздуха... и не мог...

Андрей Прокофьич слышал этот крик. Быстро пошел на берег. Прислушался. Все было тихо. Вернулся к костру и растолкал спящего Гришку.

– Гришка, а Гришка, Еремеич тонет...

– Ну!

– Правда.

Гришка быстро встал. И оба они молча пошли к лодкам. Долго слушали, как свистел ветер и бились о берег волны.

– Не слышно, – тихо сказал Гришка.

– Верно, потоп, – серьезно сказал и Андрей Прокофьич.

И оба они медленно пошли к костру.

1912

Побег

Во время работ в порту бежал арестант-горец Андрей Аркизов.

Никто не ожидал этого побега. В порту работали арестанты только краткосрочные, которым бежать не имело никакого смысла. Конвой посылался больше для вида. Солдаты часто вовсе оставляли арестантов и ходили на берег моря смотреть, как спускают с лодок водолазов.

Аркизов тоже никогда не думал о побеге: ему оставалось сидеть три месяца. Но земляные работы производились так близко от гор, поросших густым каштановым лесом, конвой отошел так далеко, для него было так ясно, что достаточно перепрыгнуть ров, перейти вброд мелкую речку, и никакой конвой уже не разыщет его, что он почти машинально – не задаваясь вопросом, стоит или не стоит, – сильным движением упругих ног перескочил широкий ров и, раньше чем успели опомниться его товарищи, скрылся в темнейшем лесу.

Началась тревога.

Арестантов сбили в кучу и оставили под конвоем двух солдат.

– Не шевелиться! – кричал старший. – Шаг в сторону – пулю в лоб... Молчать!..

Одного солдата послали в тюрьму, чтобы немедленно по-

ставить на ноги всю конвойную команду. А трое, схвативши винтовки наперевес, чтобы легче можно бежать, бросились в погоню.

Горы спускались к реке невысоким, но крутым обрывом. Ружья мешали карабкаться по обсыпавшимся камням. Ветви шиповника, за которые приходилось хвататься, кололи до крови руки. Солдаты молча, с трудом переводя дух, лезли почти по отвесной стене. Из-за вала им кричал что-то охрипший, напряженный голос, но слов нельзя было расслышать.

Наконец добрались до лесу. Громадные каштановые деревья стояли правильными рядами, точно рассажены. После отвесной каменной стены бежать казалось легче, и солдаты, перегоняя друг друга, бросились вперед.

– В гору не надо забирать... тяжело... не ползет... – скороговоркой бросил худой, высокий солдат из местных поселенцев Яков Валаев, – книзу... к долине... там ему подручной...

Солдаты повернули книзу.

Под гору бежать показалось еще легче. Но скоро к низине лес пошел совсем другой: вместо прямых, высоких, гладких стволов каштанов начался мелкий, корявый дубняк, орешник, перевитый колючей, выющейся травой, и низкие кусты шиповника. Трава стала высокой, мокрой – путала ноги и мешала бежать, но они упорно продолжали продираться сквозь лесную чащу, торопясь все напряженней, оставляя на сучках клочья одежды. Плана у них не было никакого. В какую

сторону повернул бежавший арестант, они не видали. И теперь летели в непроходимую чащу наобум, видя перед собой только одну цель: прорваться через зеленую колючую стену кустов. Слабый, узкогрудый хохол Креморенко задыхался, кровь и пот, смешиваясь, текли липкой струей по его лицу. Валаев все время опережал других, низко пригибаясь к земле и ловко перекидывая ружье то в одну, то в другую руку. Он до солдатчины был охотник и теперь чувствовал то же, что, бывало, на охоте, преследуя кабанов или волков. Третий солдат, Мазаев, белый, флегматичный, угрюмый, почти не отставал от Валаева, полез напролом, не нагибаясь, казалось, не замечая ни царапин, ни боли...

Лес становился все чаще, все темней. Одна стена вырастала за другой все неприступней. Кусты жались друг к другу, и живая колючая стена совершенно преграждала путь.

Валаев остановился.

– Промажнулись! – досадливо сказал он. – Тут не пробраться ему, на перевал пошел. Обогнем повыше: за перевалом низина; может, на нас выскочит.

Креморенко молча вытирал красный, липкий от крови пот. Мазаев равнодушно ждал, в какую сторону надо будет двигаться снова.

Валаев нагнулся и повернул назад в гору.

Снова шиповник, колючая изгородь, кровь, клочья одежды на сучьях. Но теперь подниматься надо было в гору, и страшная стена, казалось, сама наваливалась на грудь. Кре-

моренко отставал все больше. Мазаев, по-прежнему не сгибаясь, подставлял свое лицо колючим лапам кустов. Валаев почти полз по земле.

Снова начали попадаться стройные стволы каштанов. Выглянул темно-синий кусок чистого неба. Кусты стали выше и реже.

Поднялись еще. Впереди виден был скалистый выступ, не покрытый лесом. Валаев повернул к нему. Теперь они снова бежали почти в ряд, хватаясь за камни, перепрыгивая расщелины.

Со скалы расстился вид на всю долину, покрытую синеватым лесом и только изредка перерезанную узкими полянами.

Валаев первый взобрался на уступ и, прищулив острые черные глаза, стал осматриваться кругом.

И вдруг внизу по ту сторону долины он увидел человека. Серая согнутая фигура быстро перебежала светлую полосу поляны.

Валаев вскинул ружье, выстрелил и нагнулся, чтобы лучше разглядеть за дымом.

– Мимо... – проворчал он, стиснув зубы.

И все, как по команде, стали спускаться с утеса вниз.

Теперь они знали, куда им бежать. Они повернули с горы наискосок, чтобы перерезать дорогу.

Арестант Аркизов после неожиданного выстрела остановился.

Бежать дальше в этом же направлении было невозможно. Он был уверен, что погоня прежде всего оцепит ближайшую гору и обыщет ее. С величайшим трудом перерезал он заросшую долину, считавшуюся непроходимой, с тем расчетом, что, покуда будут обыскивать первую гору, он успеет уйти за перевал второй горы. Теперь, когда его увидели, план этот рухнул. В гору подниматься было трудно, и его всегда могли догнать.

Аркизов обогнул поляну по опушке; как привычный лесной зверь, прячась за стволами деревьев, почти ползком стал спускаться книзу, где пролегал глубоко врезавшийся в землю пересохший ручей. С обеих его сторон нависли колючие кусты, образуя почти темный туннель сплошных зеленых ветвей, но узкая извилистая полоса оставалась свободной, и, низко согнувшись, по ней можно двигаться легко.

Аркизов побежал вдоль ручья.

Солдаты спускались по новой дороге. Они забирали наискосок, чтобы выиграть расстояние. Теперь они видели перед собой уже не стену неприступных кустов, а скрывавшегося зверя, которого надо догнать.

И все им теперь казалось легче.

Валаев отдался охоте с упоением. Он готов был лететь по воздуху. И, как всегда на охоте, охвачен был тем особенным состоянием, когда слух становится острее, глаза лучше видят и является особое чутье, точно человек входит в душу зверя и предугадывает, куда бы зверь должен был побежать, что

сделать, где спрятаться.

Волк, кабан, Аркизов, олень – для Валаева было безразлично. Важна была – охота. И он бежал с ружьем в руках, бодрый, радостный, сильный. Ловил каждый шорох. Пронизывал взглядом темную заросль и видел, и чувствовал зверя уже недалеко от себя.

Креморенко тоже оживился. Не отставал. Мял в потных руках ружье. И чему-то довольно улыбался. Даже Мазаев выказывал признаки воодушевления, большое белое лицо его начало покрываться странным багровым румянцем.

Когда добежали до ручья, Мазаев и Креморенко хотели перескочить его и бежать дальше, в гору. Но Валаев вдруг остановился и замер неподвижно:

– Зверь пошел по ручью...

Мысль эта сверкнула как внезапный удар. Отчетливо, ясно, уверенно.

– По ручью пошел, – едва выговорил он.

И ни Мазаев, ни Креморенко не спросили, почему он так думает; молча повинувшись его уверенности, оба побежали за ним вдоль ручья.

Аркизов бежал без передышки. Он знал, что ручей выходит на большую лощину, за которой начинаются неприступные горы, и что, если он незамеченный перебежит это открытое место, он спасен.

Камни на дне ручья сухо стучали под его ногами, но он жадно вслушивался не в этот звук, а в другой, который ста-

рался различить далеко за собой. Ему казалось, что он уже слышит неровный топот ног. Он все ускорял и ускорял бег, и чем быстрее бежал, тем яснее чувствовал, что погоня пошла по ручью, что охотники близко, что надо налечь изо всех сил, чтобы успеть скрыться в скалистых горах раньше, чем солдаты выскочат из чащи. И он изгибался как змея между нависших ветвей и как ветер летел по извилистому ручью.

Валаев теперь знал наверное не только то, что зверь пошел по этой дороге, но и то, что расстояние между ними медленно, но сокращается, что зверь устал и что, если выдержать еще полчаса такого бега, его можно будет взять живьем. И вздрагивая от этой радостной уверенности, крепко стиснув зубы, не замечая ничего вокруг себя, он все больше и больше приближался к зверю.

Аркизов уже ясно слышал за собой топот ног. Но скрыться было некуда. Выход по-прежнему оставался один: успеть перебежать лощину.

Теперь он, напротив, старался не слушать глухих звуков погони: каждый удар точно подкашивал его, и ноги ослабевали. Все мысли его были сосредоточены на одном: скоро ли конец ручья? И он напряженно усиливался мыслью сократить это расстояние, точно помогая своему телу двигаться быстрее.

Недалеко. Кусты стали реже. Еще два изгиба, потом пересохший водопад, в котором весной так ревет вода, что слышно за горой, – и поляна, а за ней скалы, в которых его не

возьмет никто. Но топот кажется уже совсем близко, и ноги от этих упорных глухих звуков подкашиваются и слабнут.

Валаев уже чувствовал, как выбивается из сил изнемогающий зверь. Он не знал местности, не знал, что сейчас все должно решиться окончательно: затравят или уйдет. Уже ясно слышны впереди короткие сухие удары. Кусты поредели. Вспрыгнули на уступы водопада. Вот среди редких деревьев мелькнула согнутая серая спина. А вот открылась и гладкая равнина.

Почти посреди нее, не разгибаясь, бежит он.

Видно узкую серую спину и тонкие, высоко вскидывающие ноги.

Валаев приложился. Целился долго. И выстрелил.

Узкая спина согнулась, ноги взметнулись в воздухе, и серый ком рухнул на землю.

Валаев, схватив ружье наперевес, а за ним Креморенко и Мазаев бросились вперед.

– Жив... Ранен в ногу... – задыхался Валаев. И добежав до серого комка, дрожавшего на земле, замахнулся и ударил прикладом. Что-то хрустнуло, охнуло. Снова поднялся приклад, и снова глухой удар. Креморенко и Мазаев навалились грудью, придавливали к земле. Мазаев почувствовал на руках теплую кровь, вскочил на ноги и стал, как и Валаев, бить прикладом ружья.

Первый пришел в себя Креморенко:

– Стойте, братцы... Не уйдет теперь...

Валаев и Мазаев остановились.

Креморенко нагнулся, заглянул в синевшее лицо Аркизова и сказал:

– Помер...

Валаев, опустив ружье и бледный как воск, смотрел на убитого.

– Не надо бы, – говорил Креморенко, – живым бы взять можно.

Валаев все молчал. Грудь его судорожно вдыхала воздух. Черные глаза с каким-то ужасом и недоумением смотрели на лежавшего под ногами мертвого человека. Как будто бы он ожидал увидеть голову затравленного волка или кабана, а вместо этого увидал человеческое лицо, испачканное кровью и землей, с полужакрытыми глазами и скривившимся ртом, из которого выступила красная пена.

Только теперь Валаев понял, что пред ним несколько минут назад бежал человек. И не мог сдвинуться с места, и все смотрел с ужасом и недоумением на убитого.

– Надо сигнал подать, – равнодушно сказал Мазаев. И, подняв ружье, выстрелил в воздух...

1912

Назначение

Николай Николаевич служил в полицейском управлении второго участка города N.

Поступил он на службу, когда ему было с небольшим двадцать лет, и с тех пор сидел все за тем же столом, против того же окна, до сорокалетнего возраста.

За это время сам Николай Николаевич, разумеется, изменился: полысел, покрылся морщинами, отпустил себе окладистую бороду, на которой с одного боку стала уже выбиваться седина, но жизнь его изо дня в день текла своим обычным порядком, не позволяя замечать даже тех внешних перемен, которые происходили в ней.

Николай Николаевич как-то не замечал движения своей жизни.

Все, что окружало его, изменялось постепенно, точно так же, как постепенно изменялась его внешность; и точно так же, как он не замечал, что его розовые, полные щеки мало-помалу стали желтыми и покрылись морщинами, не замечал он и перемены начальников, смерти сослуживцев и других событий, так или иначе изменявших его жизнь.

И не то чтобы он не замечал их, но они казались ему чем-то таким логичным, неизбежным; он как бы предчувствовал их и, когда они наступали, уж не чувствовал их новизны.

Николай Николаевич почти никогда сам не вспоминал

прошедшего, хотя любил послушать, как его сослуживец, пьяный и неряшливый Кривцов, рассказывал что-нибудь смешное из прошлого, которое уже давно и забылось Николаем Николаевичем.

Николай Николаевич не вспоминал о прошлом потому, что не жалел о нем: оно ничем не было лучше настоящего и ожидаемого будущего.

Стол, за которым столько лет просидел Николай Николаевич, стоял против широкого, светлого окна. Под окном была посажена молоденькая липка, успевшая вырасти в большое дерево с толстым, черным стволом и пахучими листьями. Николай Николаевич любил или, лучше, привык к этому дереву и к этому окну. Весной окно растворялось, молодые листья заглядывали в комнату, и Николай Николаевич, когда уставал писать, облакачивался на спинку стула и смотрел, как медленно покачивались они. Он в это время ни о чем не думал, но ему было приятно смотреть на светло-зеленые листья, которые шевелились как живые.

Липу эту посадил давно уже умерший пристав, при котором Николай Николаевич поступил на службу. Единственный, кажется, пристав, которого он помнил, – потому, может быть, что это был его первый начальник, а может быть, потому что его особенно часто изображал Кривцов.

Пристав этот очень любил Николая Николаевича и был большой весельчак, шутник.

Николай Николаевич часто вспоминал, как, бывало, его

первый начальник подойдет в упор и огорошит вопросом:

– Почему попы покупают шляпы с широкими полями?

И не дожидаясь ответа, сквозь громкий, оглушительный хохот, наклоняясь к самому уху Николая Николаевича, добавляет:

– Потому, что даром им шляп не дают.

Хохочет пристав, хохочут и все подчиненные.

– А что будет с голубой лентой, – спрашивает он далее, – если ее бросить в Ледовитый океан?

Оказывалось, что лента потонет.

В саду кроме липы росло много других деревьев, разведенных тем же приставом. Сад был темный, тенистый, в нем пели соловьи. И Николай Николаевич любил слушать их, но никогда это пение не мешало ему переписывать бумаги. Он начинал слушать только тогда, когда уставала рука. А уставала у него только рука да иногда еще спина. Писал он механически, по привычке, образовавшемуся за долгую службу, внося разнообразие в свое писание только по требованию начальства.

– Пишите помельче, на вас бумаги не напасешься, – говорил один пристав.

И Николай Николаевич выводил мелкие, четкие буквы.

– Что вы бисер нижете, у вас ничего не разберешь, пишите покрупнее, – говорил другой.

И он начинал ставить круглые, разгонистые буквы.

Через два-три дня ему всякий раз начинало казаться, что

это именно его собственный почерк, и что он пишет им с самого своего поступления на службу, которое терялось в туманном прошлом, и что будет он так писать до конца своей службы.

Изредка, летом, происходил ремонт. Войдет Николай Николаевич в заново оклеенную комнату с чистым потолком и выкрашенным полом. Комната совсем чужая; ему как-то неловко, и чувство это забавляет его. Николай Николаевич усаживался за свой обычный стол, смотрел на липу, слушал, как поет соловей, и через три дня уже не мог вспомнить, какие были в комнате прежние обои.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.